

Свои цветы я принесла утром следующего дня. Парадный вход был закрыт, и я прошла тем путём, которым вёл нас в театр Высоцкий. Меня любезно пропустили в фойе, в вазах стояли цветы, но свои я положила на витрину. Постояла перед ней, вглядываясь в снимки такого разного, но чаще строгого лицом поэта, поблагодарила его за внимание, попросила прощения, что мы не узнали его, не назвали по имени.

– Земля тебе пухом и вечная память, Владимир Семёнович!

В мозаиках неисчислимого числа людей Земли сверкает это имя.

Можно бесконечно перебирать составляющие своей жизни. И как много в ней всего, что забыть невозможно! Но так уж получилось, что захотелось рассказать о том, о чём рассказала.

Вот и всё. Что зависело от меня в этих историях, которых можно было бы рассказать неизмеримо больше, что – от обстоятельств, от меня не зависящих. Но они были, заставляли волноваться, радоваться или горевать и всё-таки не легли тяжёлым грузом в мозаику судьбы, а, как мерцающие огни, светят издалека.

2004

Гульчера БЫКОВА

*профессор кафедры русского языка
и методики его преподавания БГПУ*

После окончания школы к своей мечте я плыла полтысячи километров парохомом по Амуру, потом летела самолетом из холодного Хабаровска в солнечный Ташкент. Но на факультет журналистики меня не приняли: кроме отличного аттестата требовалось два года работы в средствах массовой информации. Пришлось поступить на филологический – с твёрдым намерением работать в газете ради заветного стажа.

Правы были мудрые римляне: желающего судьба ведёт... В мою первую студенческую осень по приглашению ректора в ТашГУ приехал Василий Песков – некоронованный кумир журналистского мира, провёл дополнительный конкурс, в котором мне повезло, и, словно по волшебству, я оказалась там, куда стремилась.

Теперь понимаю: крутые виражи делает не судьба, а мы сами... Поставив семью превыше мечты, приехала в Благовещенск, стала учителем русского языка, женой военнослужащего, матерью троих сыновей. Начались бесконечные переезды по местам службы. Работала, где придётся: в школах, в редакциях газет, была принята в Союз журналистов России.

В альма-матер вернулась ассистентом родной кафедры, теперь доктор филологических наук, профессор. Опубликовала несколько монографий, учебных пособий, около восьмидесяти научных статей. Но рано или поздно человек возвращается к своим несбывшимся мечтам. И потому с художественной прозой у меня пока «неравный брак» – я всё начинаю сначала в полной уверенности: желающего судьба ведёт, а нежелающего – тащит.

Рассказы



СЕМЁНОВНА

На отделение русского языка и литературы Благовещенского педагогического института (ныне БГПУ) я перевелась с факультета журналистики Ташкентского государственного университета. Естественно, пришлось досдавать целую кучу дисциплин, потому что учитель-словесник – это, конечно, не журналист. Мало того, на выпускном курсе выяснилось, что я могу не получить свой красный диплом, потому что в школе не работала, а практика в газете «Вечерний Ташкент» абсолютно неадекватна труду учителя-практиканта средних классов даже самой захудалой школы. И пришлось мне срочно ехать на педагогическую практику в отдалённую сельскую восьмилетку, ребяташки которой вот уже несколько месяцев блаженствовали без великого и могучего, так как учителя в этой Богом забытой деревеньке подолгу не задерживались. Положение усугублялось «интересным» моим положением: ни к месту и не ко времени я готовилась стать матерью.

В селе, как известно, гостиниц нет. Поселили меня в свободной комнатухе старенького школьного интерната, беспокойные жильцы которого сильно досаждали

шумливостью, а ещё больше – нездоровым любопытством. Полнотелая, малоподвижная из-за больных ног повариха Семёновна пожалела меня и предложила поселиться в её просторном добротном доме на окраине села: «Тяжёлая ты, – сказала она жалеючи, – тебе и ребеночку покой надобен, а нам с Федотовичем веселее будет».

Расторопный голубоглазый балагур Федотович, который выглядел намного моложе Семёновны, привозил старую повариху раным-рано на своём выдавшем виде юрком бензовозике. Может, это не муж, а сын?... Всякий раз он ловко и весело распахивал перед нею дверцу, бережно принимал на свои сильные руки и, словно в ней и не было внушительного веса, легко проносил почти до калитки. Всегда говорил что-то ласковое и веселое, а уходя, не забывал нежно поцеловать.

Я, ранняя птаха-жаворонок, к тому времени уже не спала и, наслаждаясь безмолвием сонного интернатского населения, гуляла по расчищенным дорожкам вокруг дома или смотрела в окно на дальний лес, на заснеженные поля, на медленно и величаво всходящее из мороз-

ного тумана зимнее солнце. И всякий раз, невольно наблюдая за грузной Семёновной и ловким заботливым её мужем, мечтала, что вот родится и у меня мальчик и будет меня, старенькую, так же любовно и ласково сопровождать до конца моей жизни...

К вечеру того дня мы ждали Федотовича уже вдвоём. Добрая повариха с отходами для поросят, а я с сумкой, где лежали мои немудрящие студенческие наряды да учебники по русскому языку и литературе. Ровно в шесть на дороге показался весёлый юркий бензовозик-замарашка. На этот раз Федотович ловко погрузил сначала Семёновну с ведрами, а затем и меня. Я и охнуть не успела, как сильные руки шофера подхватили меня и бережно опустили на сиденье.

Не обращая на меня ни малейшего внимания, он нежно и ласково заглядывал старой женщине в лицо, словно давно не виделся с ней и очень соскучился. Он все говорил и говорил ей о прожитом дне, о поездке в райцентр, о какой-то аварии, свидетелем которой случайно оказался... Время от времени, отрывая руку от руля, он ласково прикасался к ее плечу, нежно поглаживал по волосам, по коленям. На дорогу он почти не смотрел. Казалось, умная машина его, словно живая, сама ловко выворачивала из-за очередного поворота, объезжала колдобины и держала курс в нужном направлении.

Большой рубленый дом, ухоженный сад, просторный двор, аккуратные постройки для скота, высокий ладный забор вокруг – всё свидетельствовало о крепкой хозяйской руке. Смеясь и дурачась, Федотович подхватил в охапку свою угрюмую и всё время молчащую спутницу и привычно, легко понёс её к высокому крыльцу, помог ей, грузно ступающей на распухшие ноги, подняться по ступеням. Я нерешительно выбралась из кабины.

В просторном и жарко натопленном деревянном доме мне отвели небольшую комнатку, где стояла высокая от перин и необъятных пуховых подушек кровать и незамысловатый, видимо самодельный, стол с двумя тяжелыми табуретами.

Федотович, словно заводной, споро и ловко управлялся по хозяйству: принёс и подбросил в горящую печь несколько душистых охапок берёзовых дров, накормил всю живность, загнал бензовоз в гараж. Негромко напевая что-то бодрое, вычистил от снега дорожки во дворе и около дома, принёс из колодца студёной воды. Всё это он делал как-то весело, охотно, будто играючи, с шутками-прибаутками, присловьями и поговорками. Хмурая Семёновна, сидя у стола в кухне (она и на работе больше сидела, всё необходимое ей подносили дежурные мальчишки), устало готовила нехитрый ужин.

Ранние зимние сумерки быстро опустились на дом, на притихший сад, на задремавшую деревеньку. На кладбище угомонилось расшумевшееся воронье. Дальний лес зачернел и слился с горизонтом в одну сплошную линию, а на небе, словно по чьей-то команде, зажглись крупные редкие звёзды. В доме было тихо, лишь потрескивали в огне сухие берёзовые поленья да настырно мурлыкал большой чёрный кот у ног хозяйки. На душе стало легко и покойно: домашний уют ласково принял меня в свои тёплые надёжные объятия.

На обеденном столе появилась незамысловатая деревенская снедь: вареные яйца с яркими, как апельсин, желтками, сало с розовыми прослойками мяса, мохнатые молочные грузди, хрустящие огурчики из бочки, засолённая с весны черемша, мочёные яблоки-полукультурки... Притягательно мерцала вазочка с вареньем – редким для студента лакомством. На огромной сковороде соблазнительно румянилась жареная картошка. Сели ужинать.

Впервые я увидела Федотовича без шапки-ушанки и чёрного полушубка. В ладном спортивном костюме при мягком свете старомодного абажура он казался ещё моложе. пышные волнистые волосы, чуть прихваченные у висков лёгким серебром, придавали лицу его какое-то особое, не деревенское обаяние. И большие голубые глаза, и чувственные, выразительно очерченные губы, и посадка по-мужски красивой головы, и особенно окуляющий мягкий говор выдавали его явно нездешнее происхождение.

Стараясь растормошить-развеселить не улыбчивую хозяйку, он вкусно хрустел солёным огурчиком, другой кусочек подносил к её вялым губам. Ласковые слова – *лапочка, лапатуся, лапушка, солнышко моё, зайка*, адресованные старой женщине, невольно наводили на мысль о далеко не сыновних чувствах загадочного шофера. Они дружно выпили по рюмочке крепкого самогона, предлагая и мне, на что я испуганно махала руками, заливалась румянцем, вызывая у них смех. На бледных щеках Семёновны заиграл слабый румянец. Она оживилась, взаимные ласки их стали более откровенными, и я поспешила в отведённую мне комнату.

Неожиданное предложение поварихи, скорые сборы, переезд на новое место, да и полная учительская нагрузка сморили меня. Мои покровители ещё долго и оживленно беседовали за поздним ужином, а я уже безмятежно спала на мягкой перине. Проснулась я от приглушённого мужского голоса за тонкой перегородкой. Страстный шёпот поражал, завораживал, казался неземным, нереальным... Кто же он все-таки ей – муж или сын?..

В школе уже все знали, что я переехала к Семёновне. Людмила Петровна, нервная учительница начальных классов, худошавая, бледная, с испуганными глазами, после уроков не без умысла навязалась ко мне в попутчицы.

– Ну, как тебе у Семёновны?

Я пожалала плечами:

– Вообще-то хорошо, не то что в интернате... Но странные у них какие-то отношения...

В памяти всплыли и необычный ужин, и страстный ночной шёпот – то ли явь, то ли сон...

Понизив голос, Людмила Петровна прошептала:

– А ты знаешь, что он – её зять, муж старшей дочери? – ???!

Нет, прав был поэт: «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести»... Оно способно поразить воображение даже равнодушного ко всему человека, а уж меня...

Оказалось, что первую свою дочку красавица Семёновна родила... в тринадцать лет. В селе глухо поговаривали, будто бы она понесла от отчима, который был

много моложе своей жены, матери Семёновны, старой Грачихи, известной в округе знахарки и травницы, к которой приезжали даже из дальних мест... Она могла любую строптивую корову заговорить, и та становилась послушной, как собака, — ходила следом за хозяйкой, заглядывала в глаза. Даже из стада убегала домой... Много, много чего ещё могла деревенская повитуха и колдунья: заговаривала «хомут», грыжи, «рожи», нарывы и другие болезни — надуманные, нагаданные, по ветру пущенные от нечистого глаза...

— Ну, родила да родила. Посудачили и успокоились ко всему привыкшие сельчане, по-житейски мудро рассудив: не она первая, не она последняя... А вскоре одинокая юная мать сураза (так называли в селе нагулянного ребёнка) неожиданно и удачно вышла замуж за соседского парня, который, оказывается, любил ее с детства. Что ни говори, а повезло девке: и сухой из воды вышла, и жила с мужем душа в душу: он глаз с неё не сводил, на руках носил... Теперь ей дружно завидовали всем селом. И дозавидовались-таки, а может, чёрно-белая судьбинushка постаралась: грянула война, которая не одной Семёновне лиха принесла. Мужиков в селе как метлой подчистило. И первой, кто получил зловещую весть, была она — Семёновна — теперь молодая вдова с рослой девочкой-подростком да ещё четырьмя погодками, мал мала меньше. Не одна она голосила — ревели в деревне все бабы, чуя приближающуюся к каждой беду.

Померк-почернел в глазах белый свет, жить не хотелось, да голодные худенькие малыши глядели с надеждой в лицо матери, которая с утра до тёмной ночи работала в колхозе за жалкие трудовни, а ночью, уже при луне или на ранней утренней зорюшке — на своём подворье или в огороде. Иной раз диву давались соседки, как не спеша, ровно, терпеливо справляла она свою тяжкую вдовью работу, не сетуя, не гневя судьбу. А в поле или на покосе после изнурительного трудового дня лучшая в селе певунья Семёновна неизменно затягивала: «Ямщик, не гони лошадей: мне некуда больше спешить, мне некого больше любить... Ямщик, не гони лошадей...»

Незаметно подросла, заневестилась её старшенькая — черноглазая, чернобровая, смуглая Настенька. Всем её сводным братишкам природа-матушка не пожалела желтых волос да небесной голубизны для глаз, по-царски одарила. В последний год войны рослая Настя неожиданно для всех сбежала в город, окончила там ускоренные курсы медсестёр, которых так не хватало фронту. Там и встретила она своего синеглазого красавца-волжанина: с поля боя вынесла почти мёртвым, ничего не жалела, в самые критические моменты, не задумываясь, решалась на прямое переливание крови, самые лакомые кусочки отрывала от скудного фронтового пайка, недоедала, недосыпала, а выходила, вытаскивала-таки его из цепких объятий злопамятной Костлявой, которая, видно, потом и отомстила непокорной красавице-смуглянке.

А как война кончилась, вернулись молодожёны на Амур, под родной материнский кров. Ловкие мужские руки пришлись здесь в самое время: дом, и без того старый, просел на два угла, ветхий забор и сарай в лихолетье на дрова пошли, погреб провалился и стоял в воде.

Зять сел на полуторку колхозную, а его молодая красавица-жена устроилась медсестрой в районную больницу. И ничего, что далеко от дома: пешком не поспеть, зато машина всегда под рукой.

За добрый нрав, сердечность и отзывчивость работающего шофёра мал и стар в селе стали уважительно называть Федотовичем. Непьющий, хозяйственный и расторопный, он первым делом поправил покосившуюся избу, украсив её не по-здешнему большими окнами с резными наличниками, добротной перекрыл крышу, наладил высокий новый забор, а уж ворота, которые он привёз на своей полуторке откуда-то издалека, повергли в удивление даже самых невозмутимых односельчан. В тёплом сарае появились чёрно-пёстрая корова-ведерница, породистые свиньи-ландрасы. Крупные цветные куры да редкие в здешних местах индюки гуляли вокруг дома, пощипывая травку.

Наголодавшимся за военное лихолетье ребятишкам стало легче, они много и охотно помогали по хозяйству, на огороде, в молодом саду, что разбил неугомонный Федотович вокруг обновлённого дома. Шумной стайкой мальчишки радостно встречали по вечерам неугомонную полуторку. Не знавшие отцовской ласки, льнули к доброму Федотовичу, который не забывал привезти им гостинцев, ходили с ним на рыбалку, в лес по грибы да по ягоды, а случалось, и в райцентр на его машине по очереди наведывались на зависть соседским мальчишкам. И Семёновна расцвела, помолодела, не прятала счастливой белозубой улыбки. Но на чужой роток не накинешь платок — пошли-загуляли по селу слухи...

Да и ни о чём не подозревавшая молодая жена, заматанная частыми ночными дежурствами в больнице, стала примечать недоброе: муж всё чаще и старательнее глаза свои синие прячет, неласково отворачивается к стенке, ссылается на усталость: мол, наломался за целый день в колхозе да по хозяйству... Одолевают молодую женщину невесёлые думки: знать, завёл милый занобу. И немудрено: после войны-то даже инвалиды — на вес золота, а тут такой красавец — всё при нём. Любая засмотрится, позавидует, позарится... Решила поделиться с матерью своими подозрениями, а та глаза отводит, сказать ничего не может... А как нашла молодуху в своей постели материнский гребень, чёрной змеей вползла под сердце страшная догадка, вспомнились двусмысленные намеки односельчан, приезжавших в больницу.

И решила она проверить свои подозрения. С вечера, как всегда, уехала с мужем, будто на работу. Распровавшись с ним у больничного крыльца, отправилась в обратный путь. Почти всю ночь брела к родному порогу, укоряя себя за подозрительность, в мыслях выгораживая горячо любимого мужа. А уж о матери и вообще страшно было подумать.

Вот и родной дом на краю села. Тихо отворила калитку. Пёс, почуяв своего, не залаял, а лишь приветно заскулил и снова задремал у крыльца. Перед утренней зорькой тихонько толкнула дверь в свою спальню, — а муж не один в постели: сладко спит с кем-то в обнимку. В предрассветных сумерках присмотрелась, наклонившись, и в ужасе отпрянула от супружеской постели...

О чём они говорили – зять, мать и дочь – никто так и не узнал в селе. А только с рассветом увёз Федотович свою молодую красавицу-жену на станцию, села она в первый попавшийся поезд дальнего следования и навсегда уехала куда глаза глядят.

А он вернулся домой, и теперь уже не таясь ни от кого зажил со своей тещей-женой душа в душу, на зависть не одному поколению сельчан. Просторный новый дом срубил, детей всех вырастил-выучил, свадьбы всем справил, дома всем построил там, где они захотели.

А уж как Семёновну свою любил – у Шекспира такого не найдёшь. Первые подснежники – ей, солнышку своему ясному, лакомый кусочек – ей, ненаглядной. Из дальних поездок вёз дорогие подарки своей возлюбленной жене, не чая увидеть, обнять. Первый кримплен, трикотин, болонью, чудные павлово-посадские платки изумлённое село не на ком-нибудь – на Семёновне разглядывало.

Говорят, лет через пятнадцать объявилась старшая дочь Семёновны и бывшая жена Федотыча, Анастасия, – по-прежнему красивая, стройная, ещё больше посмуглевшая от жгучего южного солнца, с двумя сыновьями-погодками и мужем-грузином. Она окончила медицинский институт, стала врачом-хирургом, живёт на Кавказе, обеспечена и счастлива.

Довелось мне познакомиться и с сестрой Федотовича, которая почти каждый год приезжала с далекого Поволжья навестить горячо любимого брата. Антонина Федотовна рассказала, что, узнав о своей бесстыжей сватье, о том, как она отбила мужа у родной дочери и теперь живёт с ним как законная жена, ужаснулись. Снарядила мать обеих сестер на Дальний Восток и наказала без брата домой не возвращаться. Всеми правдами и неправдами уговорили они его поехать на Волгу, будто бы к тяжело больной матери. Загоревал он об умирающей, поехал. А там ему уж и девку – кровь с молоком – засватали, на крутом волжском берегу молодым отрядили материнский дом. Живи и радуйся. Только запечалился, затосковал сынок, ни днём ни ночью покоя не знает, мечется душа, будто кто колет её иглами, жжёт

огнём дневным, ночным и полуночным. Взмолился он матери и сёстрам:

– Отпустите меня обратно, не то руки на себя наложу: нет мне жизни, мрак и стужа вокруг.

И уехал опять на Амур, к своей жене. О матери до последних её дней заботился, деньгами помогал, звонил и письма писал.

Всю свою практику-ссылку я прожила в гостеприимном доме Семёновны и Федотовича. Они трогательно, как о родной, заботились обо мне: поили парным молоком, кормили разносолами из сада и огорода. От денег за постой наотрез отказались. А когда вышел срок, Федотович отвёз меня на ту самую станцию, с которой уезжала в никуда его отвергнутая спасительница-жена...

Семёновна собрала мне в дорогу двенадцатилитровое ведро свежих домашних яиц с удивительно крупными оранжевыми желтками и сумку пышек из ржаной муки, какие я впервые отведала в их хлебосольном доме. Пышки эти, по её наказу, непременно следовало есть, обмакивая в растительное масло, обильно приправленное растёртыми зубками чеснока. Все студенческая братия из общежития два дня с восторгом уписывала щедрое угощение.

Лет через двадцать, гуляя со своим третьим сыном по набережной, встретила я учительницу из той самой школы, где когда-то проходила практику. От неё и узнала, что года через три после моего отъезда Семёновна совсем занедужила, обезножела и слегла. Федотович бросил работу, ухаживая за ней. Каждый вечер, управившись по хозяйству, вывозил её в сад. Обнявшись, они подолгу сидели в беседке под отцветшей черёмухой.

Схоронил он свою Семёновну глубокой осенью, когда почернели, пожухли поля, померкла и опала листва в старом саду и за околицей, а перелётные птицы улетели в тёплые края. За несколько дней побелела его красивая голова, потухли, будто присыпанные золой, голубые глаза. Почти всё время проводил он на кладбище, у могилы. Там и нашли его уже окоченевшим морозным зимним утром. Похоронили рядом с Семёновной, в одной оградке.

ЖИЛА-БЫЛА КЛАВОЧКА...

Никто и не предполагал, что Воронеж окажется в оккупации. И потому сюда перед самой войной эвакуировали основную часть профессорско-преподавательского состава старинного Юрьевского (ныне Тартуского) университета вместе с его богатейшими библиотечными фондами. Однако вуз, принявший юрьевцев, как и многие другие учреждения и предприятия, пришлось спешно вывозить в глубь России. Оказавшийся на фронтовом перепутье город не просто оккупировали, его почти уничтожили: по степени разрушения Воронеж вошёл в первую десятку городов мира, пострадавших от фашистов.

Вот сюда-то, на эти руины, и приехал из Порт-Артура – с места своей прежней службы – капитан Степан

Демидов с молодой женой Клавочкой. Вместо квартиры им выделили участок земли на окраине города, утеплённую и довольно комфортабельную будку от списанного немецкого автомобиля и небольшую ссуду на строительство домика, часть – деньгами, часть – строительными материалами. Новосёлы расчистили площадку и заложили фундамент. Степан с энтузиазмом принялся выкладывать стены собственного дома. Радовалась и счастливая Клавочка: наконец-то, после долгих, казавшихся бесконечными мытарств у них будет не казённая квартира, а свой дом с небольшим участком земли, где они уже посадили абрикосы, яблони, сливы и кусты душистой смородины, отвели место под грядки и цветник. Всю войну ей снились полевые цветы, в изобилии с ран-

ней весны и до поздней осени украшавшие окрестные луга. В суеде неприкаянного тяжкого лихолетья она тосковала по родным местам, по запаху свежескошенного сена и аромату полевых цветов, которые любила с раннего детства, не уставая любоваться их неброской прелестью и необыкновенным разнообразием красок и оттенков. Она и сама была как полевой цветок: удивительно скромная, застенчивая, добрая, доверчивая и внешне и душевно красивая.

И всё бы ладно, да грянула беда – Степан в очередной раз влюбился. Коварный Амур в самое неподходящее время ранил навывлет своей сладкой стрелой его неустойчивое, подверженное любовной страсти сердце. И ничего нельзя было поделаться – это была болезнь. И потому, зная за собой такой грех, Степан долго не женился, всё приглядывался и присмотрел-таки столь кроткое и терпеливое создание, как Клавочка, которая и стала его женой, можно сказать, не по любви, а по расчёту: такая всё поймет, простит, стерпит.

Когда счастливая девушка рассказала о предложении красавца-Степана своим подружкам, те её неожиданно охладили и даже пытались отговорить. «Красивый муж – чужой муж», – говорили одни. Другие на собственном горьком опыте знали Степачкину недолгую любовь и потому очень дивились его странному выбору – и чего он нашёл в этой серой мышке? А старый служака Кузьмич, охранявший всю войну пошивочную мастерскую, сказал: «Мужик, Клавдия, это такая скотина, которую надо хорошо кормить и содержать в чистоте. Эти особи делятся на три разряда, – погибал он жёлтые от махорки пальцы, – те, которые в рюмку любят заглядывать, так как от рождения глотки у них лужёные. Вторые, вот как я, без табака жить не могут. Да хорошо, если только эта зараза, а то ещё травкой балуются. А вот третьи, к примеру, как твой жених, – те, когда рожались, не успели сразу из-под мамкиной юбки выскочить, задержались там малость. Вот юбочниками и остались. И нет для них ничего слаще заманчивого бабского тела. Потому рано радуешься, девка, что избранник твой не пьёт и не курит. Помяни моё слово».

И Клавочка поминала пророческие слова житейски мудрого Кузьмича, ох как часто и горько поминала, да только, видно, судьба такая. Сколько раз прощала изменщику, всякий раз надеялась, что опамятуется, возьмётся за ум, ан нет, даже строительство собственного дома не остановило любвеобильного мужика. Поначалу Степан прибежал к ней в мастерскую, приносил её любимые пирожки с картошкой, ласково и виновато заглядывал в глаза, будто молча просил: мол, потерпи чуток, ещё немного – и всё пройдёт. А вечером не приходил домой. Поплачет терпеливая Клавочка за одиноким ужином и ложится в холодную постель, не зажигая света – пусть соседи думают, что их нет дома. Однако время шло, а блудный муж всё не возвращался. И тогда она придумала: придя с работы, надевала его рубаху, штаны, кепку и работала – подносила кирпичи к начатым стенам, расчищала от мусора дорожки, перекапывала землю под будущий урожай. Пусть думают, что это сам Степан хозяйничает. Когда всё переделала, решила заняться кладкой стен.

Родилась она в далёком таёжном селе, в низовьях могучего Амура-батюшки, где разливается он в ширину на полтора-два километра. В утренней и вечерней дымке терялся его противоположный берег, и тогда маленькой девочке казалось, что Амур – это могучее море. Река щедро кормила и поила людей, собирая время от времени страшную дань – человеческие жизни. Вот так в очередной раз уехал в ночь её отец, Егор Макарович, за красной рыбой и не вернулся. Долго искали односельчане сгинувшего рыбака, да так и не нашли. И осталась Елена Анисимовна с восьмерыми ребятишками – все девки. Не дал Бог ни одного хлопца на развод. Самой старшей, Клавочке, – десять лет.

Поплакала-поревела Соловьяха о пропавшем муже, убрала до времени старенькую машинку «Зингер», на которой портняжила, обшивая многочисленное своё семейство и прирабатывая на случайных заказах, подвизалась потуже мужниным ремнём и подалась класть печи. Этому редкому ремеслу научил её дед – большой мастер печного дела, а в подмастерье взяла свою старшенькую. И такие печи они делать стали – любо-дорого смотреть: маленькие или, наоборот, большие, с лежанками и без, украшенные или самые обычные, – кому какие по нраву, а точнее, по карману. А уж топились так, что душа радовалась. И одаривали их печи таким жаром-пылом, что слава о необычной мастерице пошла по всей тайге. Из соседних сёл приезжали за ней на лодках. Везли рыбу, икру, мясо, картошку, только бы заполучить себе знаменитую мастерицу по печному делу.

Во время работы любила мать пересказывать притчи да разные житейские истории, скрашивая себе и дочери-подростку тяжкий неженский труд. «Идёт по дороге рыбак с уловом, а навстречу ему нищий, милостыню просит. Дал ему прохожий рыбинку. Через несколько дней опять они встречаются. Снова нищий с протянутой рукой. Тогда дал ему рыбак удочку и сказал: «Вот теперь и ты не нищий». Долго думала девочка, почему нищий – теперь не нищий? И догадалась наконец: наловит бедняга сам себе рыбы и нуждающемуся подаст.

Вспомнила Клавочка эту притчу, материны уроки по кладке печей и решила сама взяться за стены. Работа от тоски лечит, тяжкие думки скрашивает. Придумала она лампочку наружу из будки вывести и вела кладку ночами, тем более что времени много потеряно, зима не за горами. Поспит несколько часов – и на работу, шьёт, думает о своём Степане, смахивая тайком непрошеные слезы. А тот и глаз не кажет. Как-то столкнулась с ним нечаянно возле газетного киоска, а он руками разводит: «Ну что мне делать: и тебя люблю, цветочек ты мой полевой, и её, гвоздика, забыть не могу. И к тому же ребёночек у нас скоро будет». Горько заплакала Клавочка и пошла, не разбирая дороги, в свой недостроенный дом.

Пока работала, всё думала, вспоминала, как в Порт-Артуре ходили они к одному китайцу, который от бесплодия лечил мужиков и баб. Посмотрел он тогда и Степана, и её. А лечить взялся только его, она, мол, здоровая и деток рожать может. Но, правда, не успел Стёпа и одного раза к китайцу сходить, как их на новое место службы отправили. Ох, обманула соперница её мужа,

присушить хочет к себе обманом, не его это ребенок, не его. Да только чем докажешь?

В горьких своих размышлениях подняла Клавдия стены, уже не пряталась, в своей одежде работала, потому как соседи не глупее её, всё видят, всё понимают и сочувствуют, помогают кто советом, кто делом, кто стройматериалами. Как ты к людям, так и они к тебе. Запала ей в душу ещё одна материнская притча. «Помирал как-то человек. Кому ж хочется добровольно на тот свет? Вот он и взмолился: «Не губи, Господи, не дай помереть, сподоби ещё пожить». Услышал Господь его молитву, явился и спрашивает: «Сколько годков хочешь ты ещё прожить на этом свете?» – «Столько, сколько листьев на этой яблоне». – «Это много». – «Тогда столько, сколько на ней яблочек». – «Это тоже много. А дам я тебе столько лет жизни, сколько у тебя друзей», – отвечает Бог. И тогда горько заплакал умирающий: у него не было друзей».

У доброй Клавочки друзьями были соседи, где бы она ни жила, сослуживцы, просто знакомые и даже малознакомые люди. Правда, они чаще обращались к ней за помощью, чем она к ним, потому что со всеми своими бедами она справлялась терпеливо и самостоятельно. Вспомнила она своё нелёгкое детство и сложила в недостроенном доме печь, как мать учила. А когда загорелись, затрещали в ней дрова да теплом пахнуло от дружного пламени, заплакала от радости и облегчения: есть в доме главное – печь-матушка, очаг, который и обогреет, и накормит. Проведали соседи про то, что такая мастерица под боком и не надо искать печника на стороне – себе дороже, да ещё неизвестно, как сложит, угодит ли, и давай просить Клавочку: мол, мы тебе все вместе крышу подведём, окна сделаем, а ты нам печи сложишь. Взяла она по такому случаю отпуск и принялась за дело. До холодов справились все сообща со строительством, внутренние работы уже в тепле заканчивали.

Долгими зимними вечерами у ярко горевшей печи шила молодая хозяйка за небольшую плату соседским детям штанишки и платья, вздыхала о том, что своего ребёночка нет, семьи нет, всплакнёт, бывало, вспоминая материнскую притчу: «Жили три друга, три товарища. Один мечтал о славе, другой о богатстве, третий – о любви. Перед самой смертью встретились они вместе и рассказывают о том, как прожили свою жизнь. Первый сказал, что стал знаменитым актером, жил в славе и почестях, а умирает в полном одиночестве и несчастным. Другой поведал, что много трудился, отказывая себе во всём, стал богатым, а умирает несчастным, потому что дети его враждуют между собой: не могут поделить нажитые им богатства, так что им не до отца. А третий слушает их и улыбается: «Я не был знаменитым и богатым, но у меня была любимая женщина, она нарожала мне добрых послушных детей, которых я с любовью воспитывал. Я умираю обласканным и любимым». И решила Клавочка взять приёмного ребёнка. Съездила в Рязань к многодетной Степановой сестре и уговорила отдать им (не сказала, что муж в бегах) самую младшенькую – голубоглазую Людочку. Удочерила девочку и вернулась в новый дом с приёмной доченькой, ради которой и стала жить.

А по весне проезжал как-то мимо Степан и не узнал собственную, брошенную им год назад усадьбу. Стоял на ней дом-красавец с голубыми ставнями, ладным забором обнесённый, а за ним сад цветущий. Заглянул ошалевший от удивления беглец за калитку, а там чистота и порядок, дорожки белым кирпичом выложены, деревца известью побелены, дружно грядки зеленеют, и цветут голубые незабудки да анютины глазки, вот-вот распустятся бутоны махровых пионов. И над всем поднимается, нежно розовеет куст многолетника, который в народе именуют «разбитым сердцем» за цветы, похожие на раздвоенные, будто разбитые, трогательные сердечки, собранные рядком на отдельных веточках.

И уж совсем ошалел изменщик, когда на лай собаки вышла из дома белокурая девочка и стала ее успокаивать, а затем позвала: «Мама, мама, а там за калиткой кто-то стоит». И тут он увидел её, Клавочку, улыбающуюся и похорошевшую, всю будто прозрачную в лучах тёплого весеннего солнца на дорожке из опавших абрикосовых лепестков. Она шла прямо на него, к калитке, шла и улыбалась... Он опрометью, втянув голову в плечи, ринулся наутек.

«Надо же, стерва, и когда только успела забрюхатеть? И, главное, от кого?» – думал он зло, с раздражением и непонятной обидой. Когда немного успокоился и стал в состоянии здраво оценивать происходящее, понял – девочке-то три, а может, и все четыре года. «Ну, ясно, нашла, подлая, вдовца с ребенком. Он ей и дом достроил. И живёт теперь на его, Степановой, усадьбе, в ус не дуёт...»

Личная жизнь с капризным, злым «гвоздиком» не заладилась, но он всё терпел ради ребёнка, которого очень ему хотелось. Однако когда обманщица вернулась из роддома и он, рязанский мужик, голубоглазый, светловолосый, увидел сына – черноволосого, чернобрового, черноглазого, орущего день и ночь, его отцовские чувства заметно поостыли. А уж когда вернулся из заключения истинный отец маленького цыганёнка, «гвоздик» и вовсе выгнала посрамленного Степана из дому. И в довершение ко всему попал он на больничную койку. Друзей у него не было, а многочисленные обманутые поклонницы не имеют обыкновения приходить на помощь тому, кто их предал. Дал знать сестре, та приехала и за голову схватилась, как услышала, что непутёвый братец натворил. Пошла на поклон к Клавочке по адресу, что Степан указал. Та спокойно выслушала золовку и засобиравшись в больницу. От врачей узнала, что муж безнадежно болен, забрала его домой и терпеливо ухаживала за ним до самой смерти. Сколько раз просил умирающий у неё прощения, на что она всякий раз отвечала: «Бог простит».

Прожила она долго, счастливо и с достоинством. Вскоре после похорон непутёвого мужа уволилась из части и перешла на железную дорогу. Днём работала в пошивочной, а ночами мыла вагоны, чтобы учить свою ненаглядную Людочку. Замуж больше не выходила, хотя сватали ее не раз. Дала дочери музыкальное и специальное образование, выдала замуж, а как появились внуки, принялась их нянчить да растить. Дожила и до правнуков, которых любила без памяти.